



Александр Сараев

Родился в 1996 году в Череповце. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в «Прочтении», «Формаслове», «Учительской газете». Дважды попадал в лонг-лист премии «Лицей», в 2022 году отмечен стипендией Фонда СЭИП по результатам работы «Форума молодых литераторов». Работает редактором. Живет в Москве.

В ДАЛЬНОЙ КОМНАТЕ

1

В дальней комнате уже становилось жарко, в то время как две другие и кухня покоились в мягкой северо-западной тени. Солнце, преодолев балкон, ступило на узкий пластиковый подоконник, прокралось по ковролину и, наконец, вскочило на белую простыню, нигде не отмеченную складками.

Он давно проснулся и лежал, глядя в яркий прямоугольник окна, за которым созревало небо; прислушивался к каждому звуку просыпающегося дома. Где-то сверху потек ровный, хорошо интонированный голос ведущего утренних новостей.

В его комнате тоже был телевизор, пузатый серый LG, какие не производили уже лет десять. Когда-то он сам купил его и принес в эту квартиру.

— И зачем он? — спросила жена Саня. — У нас уже есть телевизор.

— Этот поставим на кухне. Будем смотреть за завтраком, а надоест — увезу в деревню.

Она согласилась. На кухне со временем появился более современный Samsung, а LG переехал в его комнату.

Воскресенье. Все уехали. А пульт ночью свалился с прикроватной табуретки. Возможно, ему помогла черная кошка Дашка, которая теперь дремала где-то в недрах квартиры, найдя угол потемнее и попрохладнее.

— Даша, кис-кис, — позвал он.

Кошка не отзывалась. Он попробовал еще, но всё также безрезультатно. «А, черт с ней, — подумал он. — Надо было с детства дрессировать. Сейчас бы и пульт приносила, и окно открывала». Он посмотрел в натяжной потолок над собой, неловко высунул правую руку из-под нагревающейся простыни и почесал полоску короткой бороды, обрамлявшей лицо. «Хотя кошка всё равно не смогла бы взять в зубы пульт от телевизора, — продолжил он мысль. — Она же не собака, рот маленький. Дашка даже за большой палец меня укусить не могла». Он посмотрел на свои худые белые пальцы с аккуратно остриженными ногтями. «Вот Джек — другое дело. Он бы меня по городу катал — только запрягай, рад побегать. Правда, где теперь Джек, любитель побегать? Может быть, всё еще бегают, но теперь уже по помойкам, — он поправил на груди серебряный крестик. — Вообще-то собаки на улице столько не живут...»

Сквозь эти мысли до него донесся звук поднимающегося лифта. Вот и двери открылись. Два поворота тамбурного замка: против часовой стрелки. Пять шагов по длинному тамбуру вдоль трехколесного велосипеда, шведской стенки, кожаной в ромбик двери 98-й квартиры. И вот уже совсем четкий звук поворота ключа во входной двери. Звон крохотного колокольчика, закрепленного над глазком. Мягкий хлопок и щелчок. Теперь обувь. Шнурки — с ними всегда много возни, ключи на крючок, куртку на вешалку — ко многим другим. Почему-то пауза, наверное, у зеркала. И долгие звуки шагов по темному коридору.

— Не спишь? — спрашиваю я, входя в полураскрытую дверь. — Доброе утро.

В комнате очень жарко, прямоугольник света уже подступил к верхнему краю простыни. Едко пахнет хлоркой, нагретым

пластиком и кошачьим лотком (туалет рядом, дверь в него закрыть нельзя — Дашка не войдет).

— Доброе утро, — сказал он и протянул мне худую жилистую руку. Я пожал ее.

— Жарко сегодня, — сказал я, проходя к окну. — Ночь была холодная, пасмурная, а к утру распогодилось. В автобусе духота, я вышел за две остановки — не мог досидеть. Опоздал. Извини.

— Ничего.

— Давно проснулся? — я отодвинул прозрачную занавеску и открыл балконную дверь. Ветра не было, воздух нехотя вползал в помещение.

— Около семи.

— А чего телик не включил? — спросил я, выходя на балкон.

— Дашка ночью пульт уронила.

Под окнами медленно проезжали легковушки, сразу за дорогой текла река, обрамленная скучной и пустынной набережной. Только два рыбака, сверкая длинными удочками, закинутыми через парапет, переговаривались время от времени над абсолютно гладкой водой.

— Баржа идет, — сказал я, глядя на реку.

— С песком или с известью?

— Похоже, что с песком.

— А краны?

— Краны не двигаются.

На противоположном берегу реки, на стрелке, виднелись неподвижные пятнистые краны. Большинство из них давно стояли без дела, теряя последнюю краску под неласковыми ветрами и солнцем, но был и новый, он выглядел почти игрушечным, только что распакованным.

Я прошел в другую комнату и открыл окно, чтобы создать хоть какое-то движение в стоячем воздухе квартиры, потом вычистил кошачий лоток и вернулся.

— Что мне сделать?

— Подкати кресло, я скажу, как поставить.

Я подкатил к кровати инвалидную коляску. Тем временем он двумя рывками стянул с себя простыню. Под ней скрывалось тощее тело со скрюченными ногами, самым толстым местом

которых были узловатые негнущиеся колени; из-за сильной худобы ступни казались непропорционально большими. Он был абсолютно голый. Правой рукой он взялся за край кровати и стал поворачиваться на бок.

— Согни мне правую ногу.

Я попытался согнуть, нога не поддавалась.

— Сильнее, не бойся.

Я надавил сильнее, и она с хрустом подчинилась.

— Теперь свесь их с кровати. Так. Теперь возьми за плечо и поднимай.

Я так и сделал. Он сел в кровати. Правую ногу свело судорогой. Она быстро дергалась вверх-вниз, и он придавил ее рукой, приговаривая шепотом: «Уймись, придурочная». Когда судорога прошла, он сказал:

— Теперь пододвинь кресло.

Я поставил коляску перпендикулярно кровати.

— Ближе. И разверни на меня. Вот так. Теперь бери меня под мышки.

Подхватив его под костистые руки, я сразу почувствовал мокрые волосы в подмышках, их было удивительно много для такого худого и слабого тела. Он взялся за ручки коляски, и она начала откатываться.

— На тормоз не поставил! — с досадой сказал он.

Я быстро опустил его на место, вернул коляску и, пошарив по металлическим узлам каркаса, нашел нужный рычажок.

— Давай на три. Раз, два...

Его тело оказался легче, чем я думал. Оказавшись в кресле, он стал натягивать рубашку. Я тем временем заправил кровать и отыскал пропавший ночью пульт — он лежал под простыней, у стены.

— Приподними, пожалуйста.

Я приподнял его, он достал из-под себя какое-то полотенце и прикрыл им пах.

— Пойдем завтракать.

— Тебя отвезти?

— Я сам.

Он снял тормоз и поехал в сторону кухни, я медленно шел следом.

Завтракали мы всегда бутербродами: зерновой хлеб, масло, ветчина, сыр, плавленый сыр, колбаса, свежий батон; кроме того на кухонном столе всегда были печенье, сгущенка и разноцветные конфеты в вазочке. Я заварил растворимый кофе и выставил на стол весь набор для завтрака. Он сам взял нож, намазал маслом хлеб, положил сверху кусок сыра, ветчину и стал жевать, запивая.

— Завтра на учебу?

— Нет, я уже на каникулах, — я сидел сбоку, чтобы не загромождать телевизор, а он — напротив окна, спиной к темному дверному проему.

— Сессию сдал?

— Да, без троек.

— А сколько тебе осталось учиться?

— Еще два года.

— Подай мне бутылку, на окне стоит.

Я обернулся и подал ему белую пластиковую бутылку с широким горлышком — из-под сливок. Он открутил пробку и опустил бутылку под стол.

— Это хорошо, что каникулы. Надо и отдохнуть, лето же. В деревню поедешь?

— Конечно. — Я услышал журчание.

— На рыбалку пойдешь — возьми мой спиннинг. Он хороший, немецкий. Зря пропадает. На крыльце в углу найдешь, и там же на полке коробка с блёснами. Должны быть целые, если никто не взял.

— Спасибо. Не знал, что ты рыбак.

Он закрутил крышку и поставил бутылочку из-под сливок на угол стола.

— Рыбачил, было время. Джек со мной ходил. Ты Джека помнишь?

— Нет. Но ты рассказывал.

— Хороший был пес. Дурной, правда. На охоту его нельзя было брать — по кустам пронесется, всю дичь перепугает. То же и с рыбой. Но в лодке любил сидеть, сразу притихнет, бывало, на воду смотрит. Она его успокаивала.

Мы помолчали. В дверном проеме показалась Дашка. Она была совсем маленькая, вся черная и немного располневшая

от возраста — ей было лет пятнадцать. Ото сна ее гладкая блестящая шерсть растрепалась, и она уже не тратила силы на прихорашивания. Я покормил Дашку, она позволила себя погладить, чего обычно не допускала.

— Стареешь, — ляпнул я, сидя на корточках перед кошкой.

— Значит, завод так и не работает?

— Похоже, — я вернулся на место. — Но поставили новый кран, он иногда шевелится. Баржи ходят, но в цехе света не бывает.

— Гм. Мне теперь не посмотреть.

— Хочешь сфотографирую?

— Не надо. Я всё замечательно помню. Особенно бетонный пол.

— Да нет, — замялся я, — хочешь, могу в деревне пофоткать: реку, дом, лес, зверей, если встречу.

— Это можно. Я бы хотел посмотреть на деревню. Я там родился все-таки, а умирать приходится здесь, — он опустошил свою чашку, громко хлюпнув остатками кофе. — На следующих выходных поедешь?

— Да.

— А когда вернешься?

— Пока не знаю.

Мы помолчали. Потом он все-таки попросил включить телевизор. Показывали какой-то сериал про ментов и бандитов. Говорить было не о чем, и мы прикончили пару серий. Я стал собираться.

— Ничего не нужно?

— Нет, мои скоро приедут. Спасибо. Хорошего лета.

— И тебе.

Он сидел спиной к прихожей, где я натягивал кеды, и ничего больше не сказал.

2

Саня вышла замуж во второй раз, когда младшей дочери было девять. Старшая в это время оканчивала школу. Обе приняли нового папу, но и с родным отцом, несмотря на все трудности, не прерывали общения. Они несколько раз заходили к нему в гости, в затертую, прокопченную комнатушку заводского общежития, где кроме узкой стальной койки, холодильника «Бирюса»

и школьной парты, покрытой изошренными посланиями давно выросших учеников, ничего не было. Правда, иногда в комнате появлялась женщина, с которой жил отец, и старшая дочь Валя не могла понять, как они вдвоем помещаются на этой узкой и жесткой постели.

Людочка, младшая, была у него только дважды: один раз вместе с Валею, а второй, когда упала с велосипеда и ободрала колено — он сходил к соседу за зеленкой, а потом поправил погнувшееся велосипедное крыло.

— Смотри, вот эту машину я нарисовал, — показывал он дрожащим пальцем вырезанные в желтом лаке и залитые синими чернилами рисунки. — Парту выкинули при ремонте школы, я ее узнал по рисункам и принес сюда. Тут даже мои инициалы стоят. Вот. Я тогда в третьем классе учился.

— Я тоже в третьем.

— Время быстро летит.

— А это что за поезд? — Люда пыталась разобрать надпись перед первым вагоном, самым кривым и расплывшимся: — «Если... голубой... вагон другой».

— Это не знаю, кто писал, — отец надвинул на незамысловатый стишок граненый стакан.

После той встречи он потерялся: на звонки и письма не отвечал, никто из знакомых не мог определенно сказать, где он. Саня объяснила, что папа уехал на заработки, он и раньше так делал, поэтому дочери сильно не удивились.

Новый папа был лучше почти во всех отношениях: он работал на судостроительном заводе, много зарабатывал, выпивал только две рюмки коньяка за праздничным столом, читал Людочке вслух и помогал решать задачи по математике, по выходным возил всю семью в деревню на большой машине. Он был тихим и скромным человеком, у которого, как говорила бабушка, «руки росли из правильного места». Только один раз он сильно наругал Люду и даже хотел отшлепать — когда она оставила суп на плите и ушла играть. Суп убежал, потушил огонь конфорки, а газ продолжал идти, заполняя квартиру. Когда новый папа пришел с работы, газом пахло даже в тамбуре. Забежав на кухню, он перекрыл газ, распахнул окно и побежал искать Люду. Она сидела

в дальней, родительской, комнате на полу, вокруг нее были разложены игрушки; две куклы что-то напряженно решали между собой.

— Люда! Ты сдурела? Почему за супом не смотришь, — ворвался он на самом интересном месте. — Так можно пожар устроить! — и дальше в том же духе. Потом открыл все окна, а она ревела, и ей очень хотелось тоже сказать что-нибудь обидное, поэтому, подумав, она крикнула:

— А ты вообще приемный! — и, топнув ногой, побежала от него по квартире. Тут-то он и попытался шлепнуть ее, но промахнулся. Они не разговаривали до вечера. Вечером пришла Саня, наругала Людочку еще сильнее, отшлепала и привела извиняться.

В первый год их совместной жизни в доме появился и хулиган-Джек, и замкнутая, но красивая кошка Даша. Обоих Людочка подобрала на улице, обоих новый папа отстоял перед мамой, оставил в семье. Джек, правда, быстро потерялся, вырвав поводок из доверчивых Людочкиных рук, а вот Дашка осталась. Она редко показывалась перед домочадцами, но каждая удачная попытка погладить ее становилась маленьким праздником для Люды.

С Валею отношения были положительно-нейтральными. Окончив школу, она сразу уехала учиться, а вернувшись — вышла замуж. Вместе с мужем они приходили на семейные праздники.

Новый папа обеспечивал маму и даже просил уйти с работы, но Саня, посидев в отпуске два дня дома, начала лезть на стену от скуки и безделья. Обычно в свои выходные она либо надраивала квартиру до скрипучей чистоты, либо сгибалась над жарким деревенским черноземом, усеянным хвостиками всходящей моркови, свёклы, кабачков, картошки, редиса и лука. Без дела она жить не могла. Эта ее неусидчивость, «шило в жопе» — как говорила бабушка — пришлась весьма кстати, когда новый папа сломал себе спину, упав с расшатавшейся заводской стремянки.

Восстановился он, как казалось, быстро. И сразу забегал: на работу, в деревню, строить баню соседу, в магазин. Корсет, предписанный при подобных травмах, с каждым днем всё чаще оставался в шкафу.

— Ты почему корсет не носишь? — наседала на него Саня.

— Ну что я, дама с камелиями - корсет носить? Спина уже не болит.

— Носи! Ты еще не восстановился, я тебе это как врач говорю.

— Ты не врач, а медсестра.

Саню это уточнение больно кольнуло. Она, конечно, была медсестрой, но ее авторитет в вопросах медицины никто из домашних до сих пор под сомнение не ставил.

У Вали родился сын, у Валиного мужа появились деньги, и они вложились в строительство новой большой квартиры, продав старую и на время переехав к родителям. Втроем они заняли гостиную. Чтобы оплатить первый взнос за квартиру, продали и родительскую машину. В редкие выходные Саня ездила в деревню одна на пригородном автобусе, если везло, их всей семьей отвозил Валин муж.

Комната родителей постепенно превратилась в его комнату. Сначала стала отказывать правая нога, потребовалась трость. Когда ходить стало совсем тяжело, трость сменилась инвалидной коляской. Люда съехала от родителей, Саня перебралась в ее комнату, а мужу осталась их бывшая спальня с видом на реку. Туда поставили небольшую металлическую кровать, принесли пузатый LG, придвинули табуретку к изголовью. Он спал один. Каждое утро Саня говорила:

— Давай делать зарядку.

Он соглашался. И они вместе целый час разминали его деревенеющее тело. Она делала массаж ног и спины, он поднимал легкие детские гантельки. После завтрака Саня убегала на работу, ему доставались несложные домашние дела: убрать со стола, вычистить кошачий лоток, полить цветы (в особенности коллекцию фиалок в детской) и смотреть телевизор до ее прихода. Днем дома никого не бывало. Валя с мужем работали, своего сына они оставляли у свекрови. Иногда приходили гости: дальние родственники, Люда, друзья. Когда их не было, он подкатывался на своей коляске к балкону или к окну на кухне и пытался рассмотреть что-нибудь, кроме неба, но с девятого этажа не было видно земли, только макушки соседних домов и телебашню на горизонте, отдаленно напоминавшую Эйфелеву.

Телевизор он старался не смотреть: забывал пульт на диване, ронял его под шкаф, терял в прихожей. «Сам и принес, дурак, — думал он, — а теперь мне постоянно его включают, тошнит уже от этого ящика». Когда ему надоело смотреть в окно, он брался перечитывать домашнюю библиотеку: в основном Дюма-отца и Джека Лондона.

«Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят, — читал он по старой привычке вслух. — Вокруг была жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на замороженную унылую собаку, стоял, понурился головой и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота».

— Я дома, — голос Сани заставил его вздрогнуть, он совсем не заметил ее возвращения. — А почему ты со стола не убрал? — донеслось с кухни.

Он молчал, а когда Саня вошла в его комнату, ответил:

— Мне тяжело. Руки не слушаются.

Она наклонилась и обняла его за бледные голые плечи — всего два года назад он мог носить ее на руках, теперь она носила на руках его: с кровати на коляску и обратно. Саня поцеловала его в колючую впалую щеку:

— Я все понимаю. Но ты должен хоть что-то делать, нельзя вот так сидеть целыми днями.

— Я не могу ничего, кроме как сидеть и лежать, — его голос дрогнул на «не могу», вдруг накатил горячая волна жалости к себе, он посмотрел влажными глазами на стоячее облако над рекой и почувствовал себя ребенком, который не в силах скрыть обиду на старшего, может только заплакать и убежать.

— Послушай, — говорила Саня, целуя его в лоб и щеки, — ты не должен сдаваться. Много людей живет так, многим сильно хуже. Ты никогда не сдавался и сейчас не будешь, хорошо?

Он кивнул, не в силах говорить.

— Хорошо, — прошептал он в конце концов, когда смог совладать с собой.

— Я сейчас что-нибудь приготовлю, — она погладила его по коротко стриженным волосам, включила телевизор и вышла. Его это разозлило. Он с большим усилием подкатился к пузатому LG и выдернул шнур из розетки. Картинка пропала, но звук до конца не растворился — сверху продолжал бубнить монотонный голос ведущего новостей. Он отъехал к окну, взял книгу и вернулся к начатому рассказу.

3

Детство он провел в деревне. Тогда лес вокруг был почти диким, город стоял далеко, а детям разрешали гулять где и сколько угодно без спроса, если не было работы. Поэтому, когда он утром ушел на рыбалку и не вернулся к обеду, никто не забеспокоился. Забеспокоились только вечером. Начинало темнеть, скот загнали домой, а сына все еще не было. Его искали три дня. Вышло так, что соседский парень посоветовал ему сходить за рыбой на Дальнее озеро: «Там окуни с руку длиной, а вода такая прозрачная, что даже камни на дне видно. Никто там не удит — далеко идти по болоту». Он дошел до этого озера и действительно наловил целый мешок огромных окуней, переливающихся черными, как у тигров, полосами на спинах. Пока он сидел на берегу, вытаскивая одну рыбку за другой, день незаметно убывал. Мальчик спохватился, только когда заметил, что тени деревьев уже нависли над гладкой водой. Пора было возвращаться, но дорога назад отыскиваться не хотела. Он долго шел по лесу и чем дальше шел, тем больше понимал, что неровная тропинка уводит его глубже и глубже в чащу, совсем не к деревне. С надвигающейся темнотой деревья и кусты вокруг наполнялись тревожными звуками: что-то пошевелилось в малиннике, кто-то слетел с кроны кривой березы, стволы сосен скрипели и потрескивали на ветру, как несмазанные ворота. Небо еще было голубым, но в лесу уже скопились сумерки. Мальчик шел, пытаясь раздвигать маленькие деревца, ветви и кусты гибким удилищем, но леска цеплялась за иглы, а конец удочки то и дело втыкался в землю или поваленный ствол. Мальчику стало казаться, что кто-то идет за ним. Он поминутно оборачивался, но видел только теряющие краску

стволы, листву, собственные следы на примятых мшистых кочках. Здесь водилось много зверей: волки, кабаны, лоси и, говорят, даже медведь. Он знал, что ни один зверь сам к человеку не подойдет, но налететь в сумеречной чащобе на какую-то тварь и рассердить ее — легко. Поэтому мальчик начал кричать. Он кричал, предупреждая невидимых зверей о своем приближении, пока у него не закончились кричалки — в конце концов все они быстро надоедают. Тогда он стал петь песни — все, которые слышал, когда закончились песни — начал читать стихи: «У лукоморья дуб зеленый; золотая цепь на дубе том...» Но уже на словах «там леший бродит» он замялся — снова померещилось, что кто-то крадется за спиной. Он вспомнил другое стихотворение: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» — под него было удобно шагать, но опять у Пушкина какие-то страсти: зверь завоет, заплачет дитя... Так он шел, вспоминая всё подряд и стараясь как можно увереннее и громче произносить стихи вслух, пока окончательно не сорвал голос. Ночью, когда в темноте скрылся даже конец собственной удочки, он несколько раз упал, ободрал себе руку и сдался: надо поспать. Мальчик забрался под пышную еловую юбку, разгреб руками шишки и уснул на земле: матрасом ему служили иглы, а одеялом и крышей — широкие тяжелые ветви. Проворочавшись всю ночь на колючей подстилке, он устал только сильнее. Ноги гудели, голова разболелась от запаха багульника, не было сил подняться и идти дальше. Однако он пошел. Сырые окуни в мешке казались всё более аппетитными по мере того, как второй день приближался к полудню. Удочку он бросил. Ни намека на тропинку отыскать не получалось. После полудня стало совсем жарко и мальчик вышел на поляну, поросшую высокой травой, в центре которой стоял высокий темный кедр. В надежде осмотреться, мальчик взобрался на дерево. Это оказалось несложно, вот только с кроны было видно саму лишь крону и соседние деревья. Пока он лез вверх и пытался раздвинуть ветви, чтобы найти хоть какой-то ориентир, поднялся ветер. Макушку кедра опасно раскачивало, и только он начал спускаться, как заметил в высокой траве на краю поляны движение. На этот раз ему не казалось. Из леса по траве двигалось большое бурое пятно. Это была спина медведя. Зверь, тяжело ступая, направился

прямо к стволу дерева, где мальчик оставил мешок с пойманной рыбой. Он принюхивался, вода из стороны в сторону широкой плоской головой и шеvelя черным носом. Медведь учуял рыбу, разорвал мешок когтями и принялся есть. Пока зверь поглощал свою добычу, мальчик сидел наверху, не отрывая глаз от большого бурого пятна под собой и боясь даже дышать. Сердце его тяжело и быстро билось, руки холодели. Он отчаянно вцепился в чешуйчатые сучья, казалось, какая-то сила тянула его вниз, он вот-вот сорвется и упадет к этим огромным окуням, а медведь будет возить в нем свою тупую морду, чавкая и жадно сопя. Но он не упал, а медведь, съев всё подчистую, ушел, даже не взглянув наверх. Ночь мальчик провел на дереве, там его и нашли утром деревенские — обессиленного, голодного и невнятно хрипящего, когда взрослые спрашивали, что с ним случилось. Оказалось, все это время он ходил вокруг деревни. Кедр, на котором он провел последнюю ночь, посадил его прадед, поляна была через речку от первых деревенских изб, и только каким-то чудом мальчик не слышал лая собак и мычания коров.

Так рассказывала Валя своему маленькому сыну перед сном про его дедушку, лежавшего в дальней комнате. А потом она услышала протяжное «Ва-аля» и пошла туда, откуда доносился этот призыв.

— Натяни мне простыню, — попросил он тихо, указывая подбородком на открытую грудь.

— Ты только ради этого меня позвал?

— Я сам не могу.

— Я ребенка укладывала, а ты его разбудил.

Он ничего не ответил и отвернул голову, уставившись в стену. На высохшей почти до кости скуле туда-сюда забегал желвак. Валя небрежно накинула простыню ему на шею, так, что она неприятно цеплялась за щетину, и молча вышла.

До прихода Сани он смотрел телевизор: всё подряд, каналы давно не переключал; руки его почти отказали. В сущности, ему было неважно, что смотреть, лишь бы заместить чем-нибудь мысли, желательно, чтобы их вовсе не было и голова просто заполнялась бы картинками и звуками. Саня пришла в начале двенадцатого и, прежде чем зайти к нему, поговорила на кухне с дочерью.

Он не уловил сути разговора, но по интонации понял, что речь была о нем. Когда Саня переворачивала его и обрабатывала пролежни на бедрах едва толще ее руки, он спросил:

— Почему ты так долго?

— Я работала.

— Нет. Вы говорили на кухне. Что она про меня сказала?

— Что ты разбудил малыша.

— Она весь день меня игнорировала, а потом чуть не придушила одеялом.

— Ну прямо так... Просто занята была, — заступалась Саня за дочь, откладывая бурую вату.

— Нет, она нарочно делает вид, что не слышит. Я же немного прошу. Я замерз. Вот и всё. На пять минут можно ко мне зайти, — его голос хрипел и прерывался шумными свистящими вдохами. Саня умело перевернула его кости на спину и укрыла до шеи простыней, так, чтобы та не задевала бороду.

— Я поговорю с ней. А теперь ложись спать.

— А поесть?

— Тебя не кормили?

— Нет.

— Господи. Сейчас, подожди пять минут.

Вечер закончился скандалом.

Всё чаще их вечера заканчивались скандалами. Валя бросила работу, когда сын серьезно заболел, она всё время проводила с ним и почти не замечала больного отчима, ее муж возвращался домой, только чтобы поспать; Саня тоже работала: в больнице и дома, если везло, она на день-два вырывалась в деревню. «Здесь я отдыхаю», — говорила она, перепачканная землей, с дрожащими от усталости руками.

Лежачий всё больше требовал к себе внимания. Особенно часто это происходило в те редкие моменты, когда семья без споров и взаимных претензий собиралась за ужином на кухне. Они ели и разговаривали тихо, заговорщицки, так, чтобы он не мог расслышать, о чем они, но все равно на полпути между тарелкой и ртом чья-то ложка вздрагивала от протяжного «а-я». Согласные терялись в слабеющих голосовых связках, оставались только эти две требовательные, эгоистичные, напоминающие о себе буквы:

А и Я. Из них состояло имя обеих женщин. «А-я» повторялось несколько раз, прежде чем Саня шла к нему.

Он просил переключить канал, хотя все знали — ему всё равно, что смотреть, он просил закрыть или открыть окно, поправить сбившееся одеяло; ему казалось, что лекарства могут упасть с прикроватной табуретки, если Дашка — единственная, кто теперь неотлучно дежурила у его постели и приходила без зова, — неаккуратно спрыгнет на пол. Саню он подзывал по несколько раз в час. Если кому-то нужно было в туалет или ванную, приходилось красться мимо его комнаты, чтобы он не попросил зайти. Когда Сани дома не было, он подзывал Валю, но не так часто — ее он побаивался, она могла проигнорировать.

Сначала все его просьбы выполнялись, какими бы нелепыми и назойливыми они ни были. Потом всё чаще и чаще его зов стали не замечать. В дальнюю комнату заходили по расписанию: утром — завтрак, уборка, процедуры; в обед и ужин — всё то же самое. Его жизнь стала хорошо откалиброванным механизмом: всё точно, без сюрпризов, без опозданий. Развеивала эту хорошо продуманную тоску только Людочка.

Она приходила в гости нечасто, но каждый раз шла к нему. Не только поздороваться и спросить дежурное: «Как дела?» — чтобы он ответил заготовленное: «По-старому, как видишь. Лежу». Она рассказывала о своей жизни. Об учебе в университете, о работе, подругах и парнях. Она доставала фотоальбом с самой верхней полки шкафа и листала перед ним, а он рассказывал: «Вот это моя м-мама с п-папой в молодости, — говорил он очень слабым, заикающимся шепотом. — Это я на велосипеде е-еду возле нашего до-дома. Остался т-там к-к-к-колодец? А пихта, к-которую я сажил? А вот это Джек, п-помнишь, когда ты только его до-домой притащила, такой ч-ч-чумазый был».

Давно уже не было ни колодца, ни пихты, ни самого дома. Сосед, которому он строил когда-то баню, по пьяни сжег всё, что попало под руку: и дом, и веранду, и пихту; и даже трехколесный велосипед, вросший в землю под развалившимся забором, погнулся от жара. Ему о случившемся не говорили, и каждый раз, когда он спрашивал, как сейчас в деревне, отвечали: «Всё как раньше, только трава до пояса выросла».

Люда, расспросив про всех родственников, которых она знала и не знала, погладив сонную взъерошенную Дашку, лежавшую под боком больного, шла на кухню. Там ее встречали благодарные взгляды, но о нем они никогда не говорили и не спрашивали, словно неприлично было затрагивать эту тему за обеденным столом.

4

В начале зимы в квартире всегда был праздник. У Сани и ее мужа дни рождения совпадали. В дом звали гостей, делали генеральную уборку, готовили праздничный ужин. Правда, последние пять лет его болезни застолья проходили тихо. Поэтому я удивился, услышав еще из тамбура гомон большой человеческой толпы. Мне открыла хозяйка дома в красивом зеленом платье, накрашенная, со свежей короткой стрижкой и маникюром:

— А вот и мой любимый племянник! Давно ты у нас не был.

— С днем рождения! — я отдал букет и поцеловал Саню в подернутую неглубокими морщинками щеку.

Пока я возился со шнурками в прихожей, она отнесла букет в свою комнату и поставила его в трехлитровую банку — вазы закончились. Я прошел в ярко освещенную, но тесную гостиную, забитую людьми. Половину из присутствовавших я не знал. Даже удивительно, что в таком небольшом помещении собралось столько людей. Здесь были почти все: родственники — близкие и дальние, друзья со школы и коллеги с работы, бабушки и соседи, и даже чей-то белый шпиг. Я поздоровался с теми, кого знал, с остальными меня быстро познакомили, после чего усадили за общий стол-книжку. Матрас с раскладного дивана, на котором спала семья Вали, был снят и унесен, все табуретки с кухни и стулья из комнат были расставлены вокруг. Места за столом едва хватало для вилки с салфеткой, не поместившиеся блюда ждали своей очереди на кухонном столе, на подоконнике, в холодильнике и на балконе. Мне протянули коньяк:

— Восемнадцать есть?

— С горкой, — ответил я.

Кто-то сказал тост. Мы выпили, я принялся за селедку под шубой, после чего спросил у соседки, Саниной подруги, которую я немного знал:

— А откуда столько людей? У Сани же не юбилей, кажется.

— У него юбилей.

— Сколько?

— Пятьдесят.

— Я думал, он старше.

— Многие так думали, даже его школьные друзья, — она указала вилкой на двух серых мужчин на краю стола. — Ты заходил уже?

— Сейчас зайду.

После второго тоста я поднялся и прошел по темному длинному коридору к дальней комнате. Света там не было. Я осторожно приоткрыл дверь и тихо спросил:

— Не спишь?

В ответ донеслось едва различимое между свистящим дыханием: «Нет».

— С днем рождения. Я и не знал, что у тебя юбилей, — я пожелал какую-то глупость, вроде крепкого здоровья и счастья на каждый день, он поблагодарил и даже улыбнулся. Мы давно не виделись.

— Ка-как у тебя де-дела? — прохрипел он.

Единственным источником света в его комнате был голубоватый экран LG, крутивший свою шарманку без звука. В полумраке его лицо казалось не таким высохшим, черты сглаживались. Пока я рассказывал, на кровати пошевелился маленький черный комок и на меня поднялись два зеленых кошачьих глаза. Дашка недоверчиво и сонно осмотрела меня, потом зевнула и, повернувшись на другой бок, снова уснула.

— А ты не сфо, ты не сфо..., — шептал он заикаясь, я вслушивался как можно внимательнее, — сфотографировал де-деревню, я просил. П-помнишь?

— Сфотографировал. Извини, у меня не с собой. В следующий раз принесу фотоаппарат — покажу.

— Рас-рас-распечатать м-можешь? Не х-хочу с э-экрана с-с-смотреть.

— Конечно, распечатаю, — пообещал я. — Кстати, ходил на рыбалку с твоим спиннингом, всё в полном порядке, спасибо. — На рыбалку я действительно ходил тем летом, когда последний раз его видел, пожар случился позже, в нем сгинул и спиннинг.

— Видел к-кого?

— Сову.

— Где?

— На перекрестке, в сломанном дереве. Помнишь, мы с тобой тогда тоже видели, когда ездили на кладбище?

— П-помню, — сказал он. — Значит, до-до сих пор т-там живут?

— Да, одна точно сидела. Совят, правда, не видел.

— П-понятно, — он улыбнулся и помолчал. — Дай п-попить.

Я взял с табуретки бутылку со спортивной пробкой и приложил к его губам, он жадно отхлебнул, немного облившись. Я вытер его подбородок салфетками, лежащими тут же у кровати, и заметил, что бороды уже нет; не было и волос на голове.

— Что показывают? — спросил я.

На экране мелькал сериал про ментов, кажется, тот же самый, те же серии.

— Да это т-так, — смутился он.

— Тебя все уже поздравили?

— Да.

— Торт будешь?

— Мне Саня по-потом п-принесет. И-иди, посиди со всеми.

Я пока т-т-тут, п-посмотрю.

— Я еще зайду.

Но я не зашел. Весь вечер мы праздновали. Гости один за другим прокрадывались в туалет и ванную, к нему почти никто не заглянул. Блюда на столе сменялись новыми: бесконечными салатами, мясом, фруктами, нарезками. Я втянулся в какую-то бессмысленную беседу.

— Я слышал, что завод скоро запустят.

— А я не слышал.

— Уже краны двигаются, весной будет работать, увидишь.

— Посмотрим.

— Он уже несколько лет стоит, разваливается. Ничего он не зарабатывает.

— Да я тебе говорю.

— А лучше бы помолчал.

И так далее. Я подарил Сане кастрюлю.

Иногда она вскакивала из-за стола и бежала в дальнюю комнату. Только она могла слышать его почти неуловимый сквозь общий гомон призыв: «А-я». Валя и ее семья каждый раз мрачнели — они тоже слышали его.

Я вспомнил о своем обещании, только когда стоял на пороге полностью одетым и решил, что найду в другой раз:

— Попрощайтесь за меня, — передал я кому-то из оставшихся и вышел.

Снега на улице не было, только голая черная земля, мокрый асфальт набережной и облезлая детская площадка, поскрипывающая качелями на ветру. Из-за угла, напугав меня, выбежал рослый черный пес. Поджимая хвост и скуля, он взглянул на меня унылыми глазами и поспешил скрыться в ближайших кустах. На той стороне реки, на стрелке, стояли облезлые неподвижные краны, но я заметил горящее окно в длинном здании судостроительного завода, пока шел по растущим лужам до автобусной остановки.

Через неделю он умер — мышцы одряхлели настолько, что он не смог дышать; к Новому году комнату освободили. С пола сняли пропитавшийся запахами болезни, лекарствами и хлоркой ковролин, старый LG сослали в гараж, матрас, подушку и занавески выбросили. Дашку я тоже не застал, когда пришел к ним первого января. Мне показали пустую светлую комнату, обдуваемую уличным морозом — после его смерти помещение постоянно проветривали.

— Обои менять будете? — спросил я, глядя на затертые пятна возле кровати.

— Наверно, — ответила Саня. — Я буду продавать квартиру.

— А Валя как же?

— Мы переезжаем, — крикнула мне Валя из гостиной.

Я зашел к ним. Ее сын, румяный и счастливый, играл с новой синей машинкой, полученной в подарок от «Деда Мороза» —

родного дедушки, отца Вали и Люды, который вернулся неизвестно откуда спустя много лет.

— Дом достроили, — сказала она, — взяли отпуска и уже через два дня переедем.

— Поздравляю.

— А ты куда? — обратился я к Сане.

— Я на пенсию. И тоже в новую квартиру. Хочу жить рядом с ребятами, — она кивнула на дочь и внука, — как только эту продам.

— Обои бы я все-таки поменяла, — сказала Валя. — Они грязные, да и запах на них остался. От него сложно будет избавиться, но надо попробовать. Кто вообще придумал в его комнате ковровлин постелить?

— Его давно постелили, — сказала вышедшая из ванной Люда. С ее рук капала вода. — Mam, а где полотенце?

— Пойдем.

— Хочешь с нами погулять? — спросила Валя, когда они вышли. — Погода хорошая, надо пройтись.

— Можно.

— Выпей кофе, я сейчас его одену и пойдем, — она начала собирать сына.

Я прошел на кухню, заварил себе растворимый кофе и сел спиной к темному дверному проему. С этой стороны на небо надвигалась легкая серая дымка, она уже нависла над телебашней. Я обернулся на дверной хлопок, подумав, что Валя выходит, но коридор был пуст. Это сквозняк открыл дверь в дальней комнате.